

МАКСИМОВИЧ ЖЕЛЬКО

# ГЕО

## НУЛЕВОЙ ИСТОЧНИК



**Желько Максимович**  
**Гео Нулевой источник**  
**Серия «Гео», книга 1**

*<https://litres.ru/73501296>*

*SelfPub; 2026*

**Аннотация**

22 сентября в редакцию «Вектора» приходит зашифрованный архив объёмом 340 мегабайт. Ни текста, ни отправителя. Только идеальные документы, которые уличают министра экономики Гурьянова в коррупции. Суммы, транзакции, сканы — всё без единой ошибки. Слишком чисто, чтобы быть правдой.

Журналист-расследователь Максим Дёмин сразу чувствует: это не утечка. Это операция. Кто-то потратил месяцы, чтобы создать безупречную конструкцию реальности и выбрал именно его — честного, осторожного, предсказуемого — в качестве главного канала.

«Нулевой источник» — интеллектуальный политический триллер о современной России, где правда стала самым опасным видом оружия, а журналистика превратилась в поле боя невидимой войны. Роман о людях, которые строят реальность из полуправд, и о цене решения остаться собой, когда даже твоя честность может быть частью чужого плана.

Потому что в этой игре самый надёжный источник — тот, которого не существует.

# Желько Максимович Гео Нулевой источник

АРХИВ

22 сентября, 14:17, Москва. Редакция Вектор. Четвёртый этаж бизнес-центра Триумф.

Источник, которого не существует, – самый надёжный источник. Его нельзя допросить. Нельзя сломать. Нельзя перевербовать. Он всегда говорит именно то, что нужно.

– Внутренний меморандум подразделения Активные мероприятия, без даты, без подписи.

Иногда Максим думал, что редакции существуют вне времени. Не потому что они вечны, а потому что в них всегда одно и то же: запах застоявшегося кофе и горячей электроники, гул кондиционеров, который слышишь только когда перестаёшь думать о чём-то другом, и окна, через которые смотришь на город – но город не смотрит в ответ.

Четвёртый этаж Триумфа был в этом смысле образцовым. Серый ковролин. Пластиковые перегородки. Флуоресцентный свет, не знающий ни утра, ни вечера. Где-то за перегородкой Алёна Черникова негромко ругалась с верстальщи-

ком. В углу работал телевизор с отключённым звуком – парламентские слушания, мужчины в одинаковых костюмах открывают и закрывают рты, как рыбы в аквариуме.

Максим сидел у своего стола и смотрел на экран.

14:17.

Архив появился в 14:17 – он запомнил время механически, как запоминают детали, не зная ещё, для чего они пригодятся. Потом понял: запомнил потому, что что-то внутри сразу отметило этот момент как точку отсчёта. Как будто часть его, та часть, которая восемь лет занималась расследованиями и научилась читать тишину как слово, уже знала: вот оно. Началось.

Зашифрованный архив. 340 мегабайт. Отправитель – никто. Письмо – без текста. Только архив.

Он разархивировал его трижды. Не потому что первые два раза что-то пошло не так – просто хотел убедиться, что содержимое остаётся тем же. Оно оставалось. Переписка. Финансовые документы. Фотографии. Сканы банковских выписок с логотипами, названиями, датами. Всё аккуратно разложено по папкам. Всё называлось правильными именами.

Министр экономики Гурьянов, Павел Андреевич. Выплаты от трёх иностранных юридических лиц. С 2018 по 2023 год. Суммы серьёзные – не миллионы, нет, ничего вульгарно огромного. Аккуратные суммы. Суммы, которые выглядят как консультационные гонорары. Именно в этом была их убедительность: не кричащее богатство, а тихая коррупция, столь обыденная в своей архитектуре, что она выглядела почти реальной.

Документация – безупречная.

Максим откинулся на спинку стула. Посмотрел в потолок. Где-то над его головой гудел кондиционер – монотонно, почти умиротворяюще, как далёкое море.

Слишком безупречная.

Это была мысль, которую он не позволил себе отогнать, хотя соблазн был. Восемь лет он занимался расследованиями – схемами вывода активов, серыми тендерами, закупками, в которых победитель был известен задолго до объявления конкурса. И он знал: в реальных утечках всегда есть грязь. Опечатки. Противоречия. Документ, датированный раньше события, о котором он свидетельствует. Сканы, сделанные наспех, со смазанными углами. Следы живых людей – людей, которые нервничали, торопились, делали ошибки.

Здесь была стерильность. Как в операционной. Как в месте, где тщательно убрали всё лишнее.

Максим встал. Прошёлся вдоль перегородки. Налил себе кофе – холодный, он забыл про него часа два назад – и выпил, не чувствуя вкуса. Вернулся к экрану.

Кто это сделал? Первый вопрос. Не правда ли это – нет, с этим он уже почти определился. Вопрос был другой: кто потратил время, деньги и мастерство на создание этой конструкции?

Потому что это была именно конструкция. Здание без фундамента, возведённое с таким профессионализмом, что снаружи ничем не отличалось от настоящего.

Он взял телефон. Номер своего источника в финансовой разведке – Аверина – он не сохранял под именем. Просто семь цифр, которые помнил наизусть, как стихи, которые учили в школе.

Гудок. Второй. Третий.

– Да.

– Это я. У меня есть материал. Мне нужна проверка.

Пауза.

Не та пауза, когда человек думает, что ответить. Та пауза, когда человек уже знает ответ и не хочет его говорить.

– Дай мне сутки, – сказал Аверин. И нажал отбой.

Максим опустил телефон. Посмотрел на него, как смотрят на предмет, который только что повёл себя неожиданно.

Аверин всегда брал трубку с первого звонка, когда звонил Максим. Это было их негласным договором – не обязательством, нет, скорее привычкой двух людей, которые понимают ценность времени. А сейчас – третий звонок. И пауза. И сутки.

Он знал. Или знал, что я могу позвонить именно по этому поводу.

Максим подошёл к окну. За стеклом – московские крыши. Сентябрьское небо, белёсое, без солнца, без облаков – просто равномерная светлая пустота. Антенны. Вентиляционные трубы. Голубь на краю соседней крыши, неподвижный, как скульптура.

Он думал о Гурьянове.

Гурьянов – технократ. Не политик, не публичная фигура с харизмой и лагерем сторонников. Инженер по образованию, экономист по призванию, чиновник по судьбе. Человек, который понимает инфраструктуру лучше, чем риторику. В системе, где выживают те, кто умеет договариваться, он выживал потому, что умел считать. Это делало его полезным. А полезные люди – редкость, которую берегут.

Никаких врагов внутри системы. Никаких публичных конфликтов. Ни одного скандала за семь лет в министерстве.

Зачем его топить?

Максим почувствовал, как в голове медленно складывается другая геометрия. Не зачем топить Гурьянова. А – кто стоит за Гурьяновым? Кто выигрывает от его присутствия в следующем кабинете настолько, что это кого-то пугает?

Или иначе: кто проигрывает?

Или не его топят. Топят тех, кто за ним.

Он вернулся к столу. Сел. Открыл новый документ – пу-

стой, без заголовка. Написал в нём одну строчку: Цель – не Гурьянов. Посмотрел на неё. Удалил.

Потому что это была гипотеза, а не факт. А он работал с фактами.

Факт первый: архив пришёл анонимно, без предисловия, без требований.

Факт второй: документы слишком чисты для настоящей утечки.

Факт третий: Аверин знал о чём-то заранее.

Факт четвёртый: три недели до думских выборов.

Он смотрел на эти четыре строчки и думал о том, что самый опасный момент в расследовании – это когда начинаешь видеть систему. Потому что тогда перестаёшь замечать то, что в систему не вписывается.

А потом подумал о другом.

Публикация этого материала – не журналистика. Это не разоблачение, не сообщение общественности о том, что власть злоупотребляет доверием. Это операция. Кто-то хочет, чтобы этот материал вышел. Хочет это достаточно сильно, чтобы потратить месяцы на создание безупречной документации. Хочет это достаточно профессионально, чтобы

выбрать именно его – Дёмина – в качестве канала.

Дёмин – не автор. Он – канал. Инструмент.

Нулевой источник – это он сам.

Осознание пришло не как шок, а как что-то, что уже давно знал, но отказывался формулировать. Как когда понимаешь, что заблудился в лесу, не в тот момент, когда деревья смыкаются вокруг, а позже – когда стоишь и смотришь на небо, пытаясь найти солнце, и солнца нет.

Он встал снова. Уже четвёртый раз за последние два часа. Это была физическая реакция на умственное напряжение – тело требовало движения, когда мысль заходила в угол.

Алёна за перегородкой уже не ругалась. Телевизор в углу переключился на что-то другое – цветные плашки, бегущая строка. Флуоресцентный свет лил своё бесстрастное белое.

Я могу не публиковать это, – подумал Максим. Первый раз за два часа он позволил себе эту мысль прямо. Я могу получить подтверждение от Аверина, убедиться в фальсификации и просто закрыть папку. Удалить архив. Написать что-нибудь другое.

Но тогда – кто-то другой. Другой канал, другой журналист, возможно, менее осторожный, возможно, более желающий сенсации. Тот, кто не задержится на фразе слишком безупречная. Тот, кто напечатает.

Или не напечатает никто, и операция провалится. И тогда попробуют снова – другим способом, с другими документами, в другое время.

Максим налил ещё кофе. На этот раз горячий – кто-то сварил свежий, пока он не смотрел. Запах поднялся резкий, знакомый. Единственная константа в этом помещении, где всё остальное было серым.

В 17:55 зазвонил телефон.

Незнакомый номер. Он смотрел на экран две секунды, три, четыре. Потом нажал ответить.

– Максим Сергеевич, – сказал голос. Приятный. Деловой. Голос человека, который привык к телефонным переговорам – не нервничает, не торопится, держит темп. – Нам стало известно, что вы работаете над материалом об инвестиционных связях Гурьянова. Мы готовы предоставить дополнительные подтверждения.

Максим нажал запись. Сделал это раньше, чем осознал, – рука сработала раньше головы, восемь лет рефлекса.

– Спасибо, – сказал он. – Кому я обязан этим звонком?

– Источнику, заинтересованному в объективном освещении ситуации.

Объективное освещение. Он мысленно отметил эту формулировку – не в правде, не в разоблачении. В освещении. Это было слово людей, которые думают о свете, а не о том, что он освещает.

– Каким образом вы готовы предоставить подтверждения?

– Встреча. Удобное для вас место и время. Материалы – непосредственно в руки.

– Мне потребуется время подумать.

– Разумеется. – Пауза. – Максим Сергеевич, материал важный. Общественный интерес очевиден. Мы просто хотим, чтобы картина была полной.

Полной. Ещё одно слово из лексикона людей, работающих

с нарративами. Не правдивой. Полной – то есть включающей то, что они хотят добавить.

– Я свяжусь с вами, – сказал Максим.

– Будем ждать. – Голос не изменился. Ни разочарования, ни нетерпения. Просто ровная деловая любезность. – Хорошего вечера.

Гудки.

Максим смотрел на телефон. На дисплее – незнакомый номер, который он уже знал, что проверит и не найдёт ничего интересного. Номер на физическое лицо, зарегистрированное где-нибудь в регионе, купленный для одного звонка. Или на юридическое лицо, которое окажется пустой оболочкой.

Но у него теперь была запись.

Это был, как ни странно, первый настоящий документ за весь этот день. Не безупречный архив с чужими деньгами – а голос. Голос реального человека, который позвонил и предложил дополнительные подтверждения.

Документ о том, кто хочет уничтожить министра.

Или не уничтожить. Максим вернулся за стол, открыл документ с удалённой строчкой и написал снова: Цель – не Гурьянов. На этот раз не удалил.

Добавил вторую строчку: Цель – использовать меня.

Помолчал.

Добавил третью: Вопрос: зачем?

Смотрел на три строчки достаточно долго, чтобы понять: у него нет ответа. Есть только голос в диктофоне, архив в 340 мегабайт и Аверин, который взял трубку с третьего звонка.

За окном Москва делала то, что делает всегда – продолжала. Машины, огни, серое небо, медленно темнеющее к западу. Где-то там, в одном из этих зданий, Гурьянов, скорее всего, ещё ничего не знал. Или знал. Или знал и делал вид, что не знает – что в этой системе было почти тем же самым.

Максим думал: если я публикую этот материал, я становлюсь частью операции против человека, которого, возможно, не за что топить. Если не публикую – я ничего не публикую, и операция либо провалится, либо найдёт другой путь. Если публикую другой материал – о самой операции, о том, как создаются такие архивы, – я становлюсь частью другой

истории. Чьей?

Это был вопрос, на который у него не было ответа. Пока.

Он открыл новый документ. Не для публикации – для себя. Назвал его Хронология и начал записывать всё с начала: 14:17, зашифрованный архив, 340 мегабайт, отправитель – никто.

Пока он писал, в нём существовало странное раздвоение – то, что восемь лет журналистики сформировали как профессиональный навык: часть его наблюдала за ситуацией, а часть – за собой в ситуации. Первая часть видела операцию. Вторая часть видела человека, который видит операцию, – и понимала, что это тоже кем-то учтено.

Они знали, что ты будешь осторожен, – думала вторая часть. Они рассчитывали на твою осторожность. Осторожный человек не публикует фальшивку – он ищет, кто её создал. И в этом поиске он делает именно то, что нужно тому, кто её создал.

Это была мысль, от которой становилось холодно. Не страшно – именно холодно, как от сквозняка в комнате, где, казалось, нет окон.

Потому что если они рассчитывали на его осторожность – значит, у них был план и для осторожного человека. А значит, любое его решение: опубликовать, не опубликовать, писать о самой операции – уже было частью чужого сценария.

За исключением одного.

Максим дописал хронологию, закрыл документ и открыл новый. Этот назвал Что я знаю точно.

Там была одна строчка: Они позвонили.

Они позвонили – значит, им нужно было убедиться, что он работает с материалом. Или подтолкнуть. Или создать дополнительный след. Но в любом случае – они проявили себя. Они существуют. У них есть голос, и голос записан.

Это не было победой. Но это было что-то настоящее в море безупречно сфабрикованного.

Он сохранил документ. Посмотрел на часы – почти восемь вечера. За окном Москва окончательно стала тёмной, огни множилось, и в этой темноте она выглядела почти красиво – абстрактно, равнодушно, как схема.

Вопрос: стоит ли опубликовать запись?

И второй вопрос, тот, который он не хотел формулировать, но который существовал отдельно, как тихий звон в ушах после громкого звука: останется ли он жив, если делает это?

Максим Дёмин встал из-за стола. Взял куртку. Выключил монитор – архив остался на зашифрованном диске, ключ знал только он.

Вышел из редакции. В коридоре пахло чужим ужином из микроволновки и чем-то химическим – мойка пола, наверное.

В лифте, пока кабина опускалась с четвёртого этажа на первый, он думал: я расскажу тебе историю. Историю о том, как один журналист получил архив в 340 мегабайт и понял, что архив – это не история. История – это то, кто и зачем этот архив создал.

Лифт остановился. Двери открылись.

Максим вышел в холл Триумфа, где охранник за стойкой читал телефон, не поднимая глаз, и через стеклянные двери была видна осенняя московская улица – мокрый асфальт, огни машин, люди с поднятыми воротниками.

Он сделал шаг в сторону выхода.

И в этот момент – уже потом, анализируя, он понял, что именно тогда принял решение, хотя тогда не назвал бы это решением – подумал: я не знаю, кто меня использует. Но я знаю, что меня используют. И это знание – моё. Не их.

Стеклянные двери разошлись. Сентябрьский воздух ударил в лицо – холодный, с запахом дождя и выхлопных газов и чего-то отдалённо листового, осеннего.

Максим вышел на улицу.

Где-то в одном из этих зданий человек, которого он никогда не видел, только что получил сигнал: канал активен. И записал это в журнал наблюдения.

Максим этого не знал.

Вот в чём была проблема.

Или – и это была мысль, которую он не позволил себе до конца, только почувствовал её краем – вот в чём было его единственное преимущество: он знал, что не знает. А они думали, что он не знает, что знает.

Граница тонкая. Но это всё, что у него было.

Пока что – достаточно.

Голос на диктофоне будет храниться семнадцать дней. Потом Дёмин примет решение – и голос станет публичным. Но это будет потом. Сейчас была только ночь, мокрая улица и вопрос, ответа на который не существовало ни в каком архиве – безупречном или нет.

Вопрос звучал просто: кому в конечном счёте служит правда, когда её используют в чужой игре?

Дёмин не знал ответа.

Это было началом.

## АРХИТЕКТОР

19 сентября, 11:00, Москва. Офисный особняк на Поварской. Три дня до операции.

Информационная операция отличается от пропаганды тем, что жертва сама распространяет материал. Она думает, что действует свободно.

– Учебное пособие Управление нарративом, гриф ДСП

Кирилл Нестеров не читает то, что создаёт.

Это правило – единственное, которое он никогда не нарушал. Не потому что так написано в инструкции: никаких инструкций давно нет, только привычки, отточенные до степени инстинкта. Просто он понял однажды, что чтение собственных текстов – это особый вид самозаражения. Слова прилипают. Образы остаются. Аргументы, которые ты сам выстроил, начинают казаться тебе убедительными.

А убеждённый архитектор – плохой архитектор.

Он стоит у окна. Поварская в сентябре – тихая, слегка театральная: золото лип, серый асфальт, редкие прохожие с поднятыми воротниками. Напротив – особняк девятнадцатого века, теперь посольский, с флагом, которого Нестеров никогда не разглядывал. Он не из тех людей, что разглядывают флаги. Флаги – это символы. Символы – это чужая территория.

Его территория – структура.

– Михаил, – говорит он, не оборачиваясь.

Михаил – так Нестеров называет своего единственного подчинённого, хотя настоящее имя молодого человека совершенно другое. Михаил – это рабочий псевдоним, присвоенный три года назад из соображений, которые уже никто не помнит. Теперь он просто Михаил. Так бывает: прозвища вытесняют имена так же плавно, как контекст вытесняет факты.

– Пакет готов. Ждём подтверждения по Риге.

– Сколько нам ещё ждать?

– Курьер – Марина. Она надёжна. Двое суток максимум.

Нестеров кивает. Смотрит на свои руки, опирающиеся о подоконник. Руки немолодые, с венами, с отметиной на правом запястье – след от старого ожога, история которого давно не рассказывается. В юности он был убеждён, что руки человека многое говорят о нём. Потом понял: руки говорят только о работе. Всё остальное – беллетристика.

– Иди, – говорит он.

Михаил исчезает бесшумно. Это тоже выученное качество: не хлопать дверью, не оставлять звукового следа.

Ему пятьдесят два года.

Это не возраст усталости – это возраст точности. В тридцать он принимал решения быстро и часто ошибался. В сорок – медленнее, с меньшим числом ошибок. Теперь он почти не ошибается. И это, если быть честным с собой, немногo пугает. Потому что человек, который почти не ошибается, – это человек, который уже не рискует. А человек, который не рискует, – это уже не человек. Это механизм.

Нестеров не хочет быть механизмом. Но механизм – это то, чем он стал, и это то, чем его хотят видеть.

Двадцать лет он работал в структурах, которых официально не существует. Это не метафора – эти структуры действительно не существуют: нет записей в реестрах, нет строк в бюджете, нет адресов на официальных сайтах. Они существуют так, как существуют привычки: незаметно, не отменимо, в промежутках между тем, что видно.

До этого – факультет журналистики МГУ. Он был хорошим студентом: читал много, думал быстро, писал точно. Преподаватели прочили ему блестящую карьеру. Под блестящей карьерой они понимали редакторство, может быть, собственную колонку. Никто из них не представлял, что он окажется здесь.

Да и он сам – не представлял.

Две командировки в горячие точки. Об этом он иногда думает – не с ностальгией, но с особым вниманием, которое мы уделяем тем периодам жизни, когда были собой в наиболее концентрированном виде. Чечня. Потом – место, которое он не называет даже про себя. Он видел, как информация убивает – не метафорически, а буквально: неправильно переданная координата, ложный источник, сфабрикованное сообщение о перемирии. Это научило его главному: слова – это не описание реальности. Слова – это её конструкция.

Диссертация называлась Информационное воздействие как инструмент управления когнитивными моделями. Научный руководитель прочитал её за ночь и позвонил утром, голосом человека, который только что увидел что-то необратимое.

– Кирилл, это нельзя публиковать.

– Почему?

– Потому что это работает.

На следующий день диссертацию засекретили. Через две

недели к Нестерову пришли люди в одинаковых пальто. Они не угрожали. Они предложили. Сказали: ваш текст – это теория. Мы предлагаем практику.

Ему было тридцать два года. Он согласился. Думал – на год, на два. Временно.

Временно – это самое длинное слово в русском языке.

Нестеров называет себя архитектором контекста.

Не потому что любит красивые слова. Просто это – наиболее точное описание. Архитектор не строит стены. Архитектор строит пространство между стенами. Контекст – это и есть пространство между стенами. То, что не сказано, но подразумевается. То, что не показано, но ощущается.

Его задача – не написать ложь. Ложь примитивна. Ложь проверяется. Ложь оставляет следы – в фактах, в датах, в несовпадениях. Ложь – это работа для дилетантов.

Его задача – создать пространство, в котором правда выглядит ложью, а ложь – правдой.

Разница тонкая. Именно эта тонкость и стоит денег.

Он садится за стол. На столе – чистый лист бумаги, карандаш, стакан с водой. Никакого компьютера – это тоже правило. Всё, что оставляет цифровой след, существует для других. Бумага существует только для него. Потом она сгорит – буквально, в небольшой жаровне у стены, которую Михаил прозвал редактором.

Нестеров смотрит на чистый лист.

Думает об операции Транзит.

Семь месяцев разработки. Он редко работает так долго над одним проектом – обычно хватает трёх. Но Транзит требовал особой тщательности, потому что цель была не типичной.

Цель – дестабилизировать министра Гурьянова перед формированием нового кабинета.

Не уничтожить. Это важно. Уничтожение – это грубый инструмент, он привлекает внимание, он создаёт мучеников, он порождает расследования. Нет. Нужно лишь ослабить позицию. Перевести из категории надёжного союзника в категорию токсичного актива. Сделать так, чтобы нужные люди в нужный момент в нужном кабинете подумали: а стоит ли? Не стоит ли предпочесть кого-то менее... проблемного?

Этого достаточно. Политика делается в паузах сомнения.

Пакет документов создавался методично, как реставрация живописи: слой за слоем, с вниманием к текстуре, к правдоподобию поверхности. Подлинные бумаги из открытых источников – протоколы, декларации, регистрационные документы иностранных юристов. Несколько реальных транзакций, совершенно законных и давно закрытых. Переосмысленных – вот ключевое слово – через призму дополнительных свидетельств, которые Нестеров создал сам.

Никакой грубой лжи. Только контекст. Контекст – это всё.

Он вспоминает, как в студенческие годы читал о живописцах Возрождения – об их технике создания пространства на плоском холсте. Никакого обмана. Только линии, углы, распределение теней. Зритель сам достраивает глубину, которой нет. Мозг – соучастник. Это и называлось перспективой.

Он занимается перспективой. Только его холст – это реальность.

Канал выбирался три месяца.

Это было самым сложным. Документы можно изготовить

идеально. Документы – это ремесло. Канал – это психология. Канал – это живой человек со своими слабостями, своими принципами, своими слепыми пятнами. Живых людей нельзя изготовить идеально. Их можно только найти – уже готовыми.

Дёмин – идеальный вариант.

Нестеров знает о нём достаточно, чтобы написать портрет: Максим Сергеевич Дёмин, тридцать восемь лет, журналист-расследователь, восемь лет в профессии, репутация человека, который не продаётся. Репутация заработана – не куплена, это Нестеров проверил трижды. Личная неприязнь к системе: не идеологическая, не политическая, а та особая усталая неприязнь человека, который слишком долго видел, как слова расходятся с делами. Профессиональный азарт – не тщеславие, нет, Дёмин не тщеславен. Азарт – это другое. Это жажда понимания. Потребность добраться до дна.

Именно это его и погубит. Не в смысле смерти – в смысле использования.

Дёмин проверит документы. Он хороший журналист – он проверяет всё. Он найдёт их убедительными, потому что они убедительны: девяносто процентов – правда, десять – контекст. А контекст не проверяется. Контекст – это атмосфера.

Как проверить атмосферу?

Он опубликует. И будет убеждён, что действует самостоятельно. Что сделал собственный выбор. Что выполнил свой долг.

Это и есть совершенство операции: когда инструмент думает, что он – субъект.

Нестеров поправляет галстук. Не нервный жест – просто привычка, выработанная годами: прежде чем принять окончательное решение, поправить галстук. Маленький ритуал порядка перед большим актом воздействия.

За окном – тихая осенняя Поварская. Листья липы падают в косом свете. Кто-то выгуливает собаку – маленькую, смешную, абсолютно не знающую о том, в каком кабинете и о чём сейчас думают.

Нестеров думает: Дёмин – хороший человек.

Эта мысль приходит без иронии. Без оговорок. Просто констатация факта, которая раньше его не беспокоила, а теперь – иногда – задерживается чуть дольше обычного.

Хорошие люди доверяют своей совести. Это их главная

черта, их сила, их гордость. И именно это делает их уязвимыми. Совесть – это внутренний голос, убеждающий тебя в правоте твоих действий. Если ты слышишь только его – ты глухой. Потому что этим голосом можно управлять снаружи: подобрать правильные слова, правильный контекст, правильный момент.

Хорошие люди думают, что совесть – это компас.

Компас можно перепрограммировать.

Телефон вибрирует. Нестеров смотрит на экран: сообщение от Михаила – одна строчка.

Пакет доставлен. Реакция – в норме.

Он убирает телефон в ящик стола. Закрывает ящик.

Достаёт чистый лист бумаги. В верхнем углу – дата. Код операции. Номер сценария.

Но прежде чем начать писать следующее, он на секунду останавливается.

Это происходит редко. Почти никогда. Нестеров умеет работать без пауз – это тоже профессиональное качество. Па-

уза – это момент, когда мысли, которые обычно держишь за периметром рабочего сознания, просачиваются внутрь. В таких паузах случаются то, что его коллеги называют нестандартными реакциями и что он сам – про себя, только про себя – называет другим словом.

Он думает: Дёмин сейчас открывает архив.

Триста сорок мегабайт. Три года работы – его, Нестерова. Три года выбора транзакций, создания контекста, написания нарратива, который не является ложью ни в одном отдельном элементе – но является ложью в своей целостности. Как бывает ложью музыка: каждая нота верна, но сочетание нот создаёт что-то, чего нет.

Дёмин откроет архив и будет думать: это настоящее.

Потому что это – почти настоящее.

Нестеров берёт карандаш. Пишет заголовок следующего сценария.

Останавливается.

Снова – пауза. Короче предыдущей. Но она есть.

Он думает о диссертации. О том разговоре с научным руководителем: это нельзя публиковать, потому что это работает. Он помнит, что тогда почувствовал гордость. Теперь – иногда – думает, что это была неправильная эмоция. Что правильная эмоция называлась бы иначе.

Но называть её он не умеет. Или не хочет.

Карандаш движется по бумаге. Буквы складываются в слова. Слова – в структуру. Структура – в следующий сценарий, который начнётся через неделю, через месяц, через год. Там будет другой Дёмин. Другой Гурьянов. Другая операция с другим красивым именем.

Механика – та же.

В 15:40 Нестеров делает единственную вещь, которую делает каждый день вне зависимости от оперативной загруженности: он идёт к окну и смотрит на улицу ровно пять минут.

Не потому что любит виды. Потому что это – напоминание о том, что снаружи существует другая реальность. Та, в которой нет операций, нет нарративов, нет архитекторов контекста. В которой есть только люди, которые куда-то идут по своим делам и не знают, что в десяти метрах над ними кто-то составляет сценарии их – или не их – жизни.

Сегодня на Поварской: пожилой мужчина с газетой под мышкой. Молодая женщина с коляской, говорящая по телефону – смеётся, запрокидывает голову. Двое подростков на скейтах, пролетающих мимо со скоростью, в которой нет ничего кроме движения.

Нестеров смотрит на них.

Думает: никто из них не знает, что существует такая профессия – архитектор контекста. Никто из них не подозревает, что слова, которые они услышат через три дня из уст какого-нибудь комментатора, или прочтут в телефоне между делом, или уловят краем уха из чужого разговора – что эти слова написаны здесь, в этой комнате, этим человеком с карандашом.

Это его работа. И она – работает.

Именно это и беспокоит его в редкие моменты, когда он позволяет себе беспокоиться.

Не моральная сторона – с моральной стороной он давно разобрался, выстроив систему аргументов, которая держит любую проверку: информация нейтральна, всё дело в применении, а применение всегда политика, а политика всегда

существовала и будет существовать, и лучше, если ею занимаются профессионалы, а не дилетанты.

Беспокоит другое.

Беспокоит то, что это работает слишком хорошо.

Беспокоит то, что он – архитектор, который больше не видит, где заканчивается его здание и начинается реальность. Что он создаёт контекст, который затем становится контекстом для следующего контекста, и в этой бесконечной вложенности нет точки, с которой можно посмотреть снаружи. Потому что снаружи – это тоже чья-то архитектура.

Молодая женщина с коляской перестала смеяться. Говорит что-то серьёзное. Кивает. Убирает телефон.

Нестеров отходит от окна.

Пять минут истекли.

Он возвращается к столу. Чистый лист ждёт – послушный, незаражённый, готовый принять любую форму. Это единственная честная вещь в этой комнате: чистая бумага честна сама по себе. До первого слова.

Нестеров пишет:

Сценарий Б. Нестандартная реакция канала. Варианты.

Это – страховка. Профессионал всегда готовит страховку. что делать, если Дёмин откажется публиковать? Что делать, если Дёмин опубликует, но неправильно? Что делать, если Дёмин – вот этот вариант Нестеров думает дольше всего – поймёт, что его используют, и напишет об операции вместо того, чтобы стать её элементом?

Нестеров пишет три варианта. Мягкая нейтрализация. Жёсткая нейтрализация. И третий – тот, который обычно не пишется в таких документах, потому что его существование означает признание нестандартной ситуации.

Третий вариант: позволить Дёмину написать правду.

Он пишет этот вариант и анализирует его так же хладнокровно, как два предыдущих. Думает: если Дёмин напишет правду – об операции, о механике, о том, как это работает – что произойдёт? Система проглотит? Материал исчезнет в информационном шуме? Или – Нестеров обдумывает это как оперативную гипотезу, только как гипотезу – или это станет тем самым вектором, который изменит направление?

Он зачёркивает третий вариант.

Смотрит на зачёркнутое.

Не стирает.

В 17:30 приходит второе сообщение: подтверждение по Риге. Марина вышла по маршруту. Всё по плану.

Нестеров складывает исписанный лист. Подходит к жаровне у стены – той самой, которую Михаил называет редактором. Бросает лист. Огонь занимается быстро: бумага горит честно, без остатка.

Он смотрит, как горит.

Думает – последний раз за сегодня, после этого думать об этом запрещено, это тоже правило: Дёмин сейчас сидит в редакции Вектора на четвёртом этаже бизнес-центра Триумф и смотрит в экран. На экране – архив. Триста сорок мегабайт работы, которую Нестеров вложил в него, как вкладывают письмо в конверт.

Дёмин читает. Думает: слишком безупречно.

Это хорошо. Это значит, что он – хороший журналист.

Это значит, что он всё равно проверит. Потому что так делают хорошие журналисты. Потому что так работает совесть.

Потому что совесть предсказуема.

Огонь догорает. Нестеров берёт следующий чистый лист.

Начинает писать.

Снаружи – Поварская. Золото листьев, серый асфальт, редкие прохожие. Молодая женщина с коляской давно ушла. Мужчина с газетой давно ушёл. Подростки на скейтах – тоже.

Улица пуста.

В окне третьего этажа горит свет.

Архитектор работает.

**КОНТРАГЕНТ**

17 сентября, 09:30, Женева. Отель Ришмон. За пять дней до доставки пакета.

Настоящая дипломатия происходит в паузах между официальными встречами.

– Приписывается неустановленному участнику переговоров 2019 года

Антон Вержбицкий всегда заказывал эспрессо первым. До того, как садился. До того, как оглядывался. Это был ритуал – маленький, личный, почти незаметный, – который, как он убеждал себя последние двенадцать лет, не имел ничего общего с профессией. Просто утренняя привычка. Просто кофе.

Он лгал себе хорошо. Это тоже была профессиональная черта.

Женева в сентябре пахнет водой и деньгами – специфическим сочетанием озёрной свежести и сдержанного достатка, которое невозможно подделать и невозможно вывезти. Вержбицкий знал этот запах наизусть. Он бывал здесь семь раз за последние пять лет – не считая транзитов через аэропорт, которые, строго говоря, не считались присутствием в городе ни в каком операционном смысле. Каждый раз Женева встречала его этим запахом. Каждый раз он думал: вот место, которое научилось быть нейтральным и разбогатело на этом умении.

Он сам был чем-то подобным. Только богатства не накопилось.

Терраса Ришмона выходила на набережную Монблана. В этот час – половина десятого утра семнадцатого сентября – она была занята примерно наполовину: несколько деловых пар в дорогих пальто, японские туристы с фотоаппаратами, одинокий пожилой мужчина с газетой на немецком. Озеро лежало перед ними серо-стальное, плотное, как расплавленный металл, остывший до предела, но не затвердевший. Горы на том берегу прятались в облаках. Фонтан – знаменитый женеvский фонтан – бил прямо из воды, белый и избыточный, вечный туристический образ, ставший настолько растрепанным, что превратился почти в невидимку. Смотришь – и не видишь. Знаешь, что он есть, и этого достаточно.

Вержбицкий сел за крайний столик. Спиной к стене, лицом к входу – рефлекс, выработанный не страхом, а многолетней скукой осторожности. Это перестало быть паранойей лет шесть назад. Теперь это была просто правильная геометрия пространства.

Эспрессо принесли быстро. Он взял чашку обеими руками – не потому что было холодно, хотя осенний воздух со стороны озера действительно нёс в себе что-то сырое и тонкое, – а потому что тепло фарфора давало тактильную точку

сосредоточения. Один из его первых кураторов, давно мёртвый, говорил ему: прежде чем войти в разговор, найди что-нибудь настоящее. Что-нибудь, что не врёт. Горячая чашка. Вес ключей в кармане. Запах собственного пальто.

Остальное – переменные.

Человек, которого он ждал, появился в 09:33. Три минуты опоздания – всегда три минуты, ни разу не четыре и ни разу не две. Вержбицкий задавался вопросом, было ли это намеренным. Скорее всего – да. В этой работе случайностей почти не бывает, а те, что бывают, стараются выглядеть намеренными.

Дюссельдорф – это был его рабочий псевдоним, выбранный, очевидно, по той же логике нейтральности: достаточно конкретный, чтобы звучать как имя, недостаточно значимый, чтобы о нём думать, – был человеком средних лет с лицом бухгалтера из хорошей, но не выдающейся аудиторской фирмы. Умеренно полный. Умеренно лысеющий. Очки в тонкой оправе. Пальто серое, шерстяное, качественное, но не броское. Он умел исчезать в любой европейской толпе с такой лёгкостью, что Вержбицкий однажды поймал себя на мысли: если бы такого человека попросили описать свидетели, их показания не совпали бы ни по одному пункту – не потому что он маскировался, а потому что в нём не было ни-

чего, за что мог бы зацепиться взгляд.

Это, разумеется, тоже было профессиональным качеством. Тщательно культивируемым.

– Погода улучшается, – сказал Дюссельдорф, садясь напротив. Не вопрос. Констатация.

– К полудню разойдутся облака, – согласился Вержбицкий. Протокольный обмен. Чисто. Наблюдения нет. Можно говорить.

Официант возник и растворился с профессиональной женеvской бесшумностью. Дюссельдорф заказал кофе с молоком – американо, разбавленный почти до прозрачности – и ничего больше. Вержбицкий отметил: четвёртая встреча, четвёртый одинаковый заказ. Либо искренняя привычка, либо осознанная последовательность. В обоих случаях – информация.

– Операция запускается через пять дней, – сказал Вержбицкий. – Канал подтверждён.

Дюссельдорф не кивнул. Он воспринимал информацию без видимых телесных реакций – как машина для чтения данных, оснащённая лишь минимальным набором челове-

ских мимических программ.

– Нас интересует не публикация.

Вержицкий подождал.

– Нас интересует реакция на публикацию.

За окном катер рассек озеро по диагонали – белый след, быстро расплывающийся в серой воде, исчезающий прежде, чем успевал стать чем-то определённым. Вержицкий смотрел на него и думал о разнице между событием и процессом. Событие – это след. Процесс – это вода после того, как след исчез.

– Разница? – спросил он, хотя понимал. Спрашивал, чтобы услышать, как Дюссельдорф формулирует.

– Публикация – событие. Реакция – процесс. Нам нужен процесс.

Формулировка была точной и привычной – отточенной, как все формулировки людей, которые проводят жизнь в разговорах, которые нельзя записывать. Вержицкий допускал, что Дюссельдорф произносил эту фразу или её вариацию уже многократно. Может быть, в Вене. Может быть, в

Стамбуле. Может быть, с другими людьми, в других кофейнях, над другими чашками одинакового разбавленного американо.

Он понял механику. Не уничтожить Гурьянова – заставить его защищаться. Защищающийся министр – это серия заявлений, опровержений, встреч с советниками, звонков по защищённым линиям, срочных совещаний. Каждая встреча – сигнал. Каждый сигнал – информация о структуре системы, о том, кто кому звонит первым, кто приезжает без приглашения, кто не звонит вообще. Паника обнажает архитектуру. Страх – рентген для иерархий.

Информация – это и есть настоящая цель.

Вержицкий допил эспрессо. Чашка была тёплой ровно настолько, чтобы держать её было приятно, – уже не обжигающей, ещё не остывшей. Он поставил её на блюдце с лёгким фарфоровым звуком и подумал: я провёл двенадцать лет в работе, суть которой – управление чужими реакциями. И всё равно каждый раз, когда кто-то объясняет мне, зачем им нужна именно реакция, а не действие, я чувствую что-то похожее на восхищение. Не моральное. Эстетическое.

Это было неприятным открытием, которое он делал всё время.

– Кто ещё в операции? – спросил он.

Дюссельдорф поднял взгляд от чашки. В его глазах за стёклами очков было что-то отдалённо похожее на снисхождение – не обидное, скорее педагогическое. Так смотрит преподаватель на студента, задавшего вопрос, который выдаёт непонимание базового принципа.

– Вы задаёте неправильные вопросы.

Молчание легло между ними с привычной тяжестью. Это было рабочее молчание – не неловкое, не напряжённое, а функциональное. Молчание как инструмент передачи информации: этот вопрос закрыт, следующий вопрос – ваш выбор.

За окном облачное небо Женевы давило на воду, превращая озеро в зеркало без отражений. Туристы фотографировали фонтан. Один из них – молодая женщина в красном пальто – подняла телефон и застыла в той характерной позе современного паломника перед красотой: тело напряжено, взгляд не на объекте, а на экране. Видела ли она озеро? Или только его изображение?

Вержицкий подумал: мы все давно работаем только с

изображениями. Реальность слишком дорого обходится.

– Журналист знает, что его используют? – спросил он.

Этот вопрос был другого рода – не о структуре операции, а о её человеческой составляющей. Вержбицкий задавал такие вопросы не из сентиментальности. Сентиментальность он выжиг из себя давно, осторожно и методично, как выжигают сорняки – не потому что они безобразны, а потому что мешают расти нужному. Он спрашивал из профессионального расчёта: человек, который знает, что его используют, ведёт себя иначе, чем человек, который не знает. Это меняет вероятности.

– Он подозревает. – Дюссельдорф произнёс это без интонации. – Это делает его осторожным.

– Осторожность замедляет.

– Замедление нам не нужно.

– Тогда зачем такой сложный канал? – Вержбицкий говорил ровно, но в вопросе была скрытая точность – как в хирургическом инструменте, который выглядит безобидно. – Прямой вброс через управляемое издание. Три дня. Никакого журналиста с репутацией, никакого риска, что он отка-

жется.

Дюссельдорф помолчал достаточно долго, чтобы это стало ответом само по себе – ответом о том, что вопрос заслуживает настоящего ответа, а не отговорки.

– Потому что простые каналы оставляют следы.

– Сложные тоже.

– Сложный канал оставляет вопросы. – Пауза. – Вопросы нельзя опровергнуть.

Вержицкий смотрел на него и думал: вот принцип, который объясняет половину мировой истории. Не ложь побеждает правду. Вопрос побеждает оба. Потому что ложь можно опровергнуть – медленно, дорого, но можно. Правду можно скомпрометировать – тоже медленно, тоже дорого, но можно. А вопрос живёт сам по себе. Вопрос не требует доказательств. Вопрос – это архитектура сомнения, и сомнение самовоспроизводится без участия архитектора.

Именно поэтому им нужен Дёмин. Не потому что он удобен. Потому что он честен. Честный журналист с честными подозрениями создаёт вопросы, которые выглядят как журналистика, а не как операция. Это и есть разница между ин-

струментом и оружием: оружие очевидно. Инструмент – нет.

Вержбицкий налил воды из графина. Медленно. Жест без функции – просто способ занять руки в момент, когда мысль шла туда, куда он не хотел её пускать.

Он думал о Дёмине. Не как об объекте операции – как о человеке. Это была ошибка, которую он делал всё реже и которая, тем не менее, случалась. Журналист, который подозревает, что его используют, и всё равно продолжает работать – это не слабость. Это определённый вид мужества или определённый вид отчаяния. Возможно, неотличимых друг от друга.

– Если он откажется публиковать? – спросил Вержбицкий.

– Тогда операция адаптируется.

– В какую сторону?

Дюссельдорф коснулся очков – первый физический жест за всю встречу, крошечный, почти незаметный. Вержбицкий отметил его.

– В сторону реальности, – сказал Дюссельдорф. – Человек,

отказавшийся от материала, – это тоже история. История о том, что система давит на прессу. Это другой нарратив. Тоже полезный.

– Win-win.

– В этой работе не бывает win-win. – Впервые за разговор в голосе Дюссельдорфа промелькнуло что-то живое – не тепло, но что-то вроде профессиональной гордости. – Бывает: любой результат – рабочий результат. Это другое.

Вержицкий допил воду. Стакан был холодным – приятно холодным – и лёгким. Он поставил его обратно на стол с той же аккуратностью, что и чашку из-под эспрессо, и подумал: я привык к тому, что не знаю конечной цели. Это нормально. Это стандарт. Каждое звено цепи знает только своё звено. Целое видит только тот, кто стоит над схемой.

Но чем дольше он работал, тем больше подозревал, что никто не стоит над схемой целиком. Что у каждого, кто видит больше, чем остальные, есть ещё кто-то выше – кто видит больше, чем он. И так далее, в бесконечность, пока схема не становится самодостаточной: не управляемой, а живой. Системой, которая воспроизводит себя без участия отдельного архитектора.

Это была мысль, которую он не позволял себе додумывать до конца. Не потому что она была страшной. Потому что была освобождающей – а освобождение в его профессии было опаснее любого страха.

– Вержбицкий, – сказал Дюссельдорф. Это было необычно – имя вместо молчания. Вержбицкий поднял взгляд. – Вы давно в этом.

Не вопрос. Констатация.

– Двенадцать лет, – сказал Вержбицкий.

– Это много.

– Это достаточно.

Дюссельдорф смотрел на него с выражением, которое Вержбицкий не мог классифицировать. Не оценка. Не сочувствие. Что-то среднее – профессиональный осмотр человека, который долго работает с инструментом и хочет понять, не затупился ли он.

– Вам когда-нибудь казалось, – сказал Дюссельдорф медленно, – что вы работаете на обе стороны одновременно?

Вержицкий не ответил сразу. Пауза была намеренной – он думал не о том, что ответить, а о том, почему этот вопрос задаётся сейчас, на четвёртой встрече, после двенадцати лет, в кофейне над серым озером за пять дней до операции.

– Нет, – сказал он. – Мне казалось, что я не работаю ни на одну из сторон. Что стороны – это конструкция. Что есть только движение информации. И те, кто его направляет.

Дюссельдорф кивнул. Один раз. Почти незаметно.

– Именно поэтому вы ещё работаете, – сказал он.

Вержицкий не знал, было ли это комплиментом. Вероятно, нет. Вероятно, это было просто ещё одной констатацией – спокойной, как всё остальное в этом разговоре. Ты используешь правильную рамку. Ты не задаёшь лишних вопросов. Ты достаточно предсказуем, чтобы быть надёжным, и достаточно умен, чтобы не быть опасным.

Именно это и требуется от хорошего инструмента.

Он думал об этом, пока Дюссельдорф складывал салфетку с той же методичной аккуратностью, с которой, вероятно, делал всё остальное в жизни.

– Финальные детали передачи, – сказал Дюссельдорф. – Рига, двадцатое сентября. Ваш курьер знает маршрут.

– Знает.

– Архив уже готов?

– С прошлой недели.

– Хорошо. – Дюссельдорф поднялся. Он двигался без спешки, без суеты – человек, у которого никогда не бывает опоздания, потому что его присутствие или отсутствие в любом месте всегда является именно тем, чем должно являться. – Свяжемся после публикации.

– Или после отказа от публикации, – сказал Вержбицкий.

– Или после этого, – согласился Дюссельдорф. – Любой результат.

Он ушёл. Не по набережной – вглубь отеля, через лобби, в одну из тех дверей, которые в хороших отелях всегда есть и которые всегда ведут туда, куда нужно, без лишней видимости.

Вержбицкий остался за столом. Смотрел на озеро.

Вода была серой и плотной и абсолютно безразличной – к нему, к операции, к Гурьянову, к Дёмину, к Дюссельдорфу, к туристам, которые фотографировали фонтан. Женевское озеро существовало задолго до всех их схем и продолжит существовать после.

Это было утешительно и почему-то не утешало.

Он поймал себя на мысли: я не знаю, чьи интересы представляет Дюссельдорф. Это факт, с которым он жил двенадцать лет. В первые годы незнание казалось временным – профессиональной осторожностью, которую снимут с него, когда он докажет достаточно лояльности, когда поднимется достаточно высоко. Потом стало понятно: незнание – не временное ограничение. Незнание – это архитектурный принцип. Ты не знаешь, потому что система устроена так, чтобы ты не знал. Потому что знание создаёт ответственность. Потому что ответственность создаёт риски. Потому что неосведомлённый исполнитель – это актив без уязвимостей.

Возможно, это и есть правильный ответ – не знать.

Возможно.

Он оставил на столе достаточно наличных, чтобы покрыть

оба заказа с хорошими чаевыми. Встал. Поднял воротник пальто – с набережной тянуло холодом, тем особым осенним холодом, который не злой и не добрый, а просто честный: лето закончилось, вот и всё.

Он шёл вдоль набережной в сторону старого города, и где-то в голове, на том уровне, где профессиональные категории смешиваются с личными, крутилась мысль о Дёмине. Журналист, который подозревает, что его используют. Журналист, который всё равно продолжает.

Вержбицкий думал: я тоже подозреваю. Я подозреваю двенадцать лет. И тоже продолжаю.

Разница между ними, может быть, только в том, что Дёмин называет то, что делает, журналистикой. А Вержбицкий давно перестал называть то, что делает, каким-либо словом вообще. Слова создают самосознание. Самосознание мешает работать.

Фонтан бил за его спиной – белый, избыточный, неустанный. Туристы фотографировали его. Завтра эти фотографии разойдутся по десяткам личных архивов, телефонов, облачных хранилищ. Никто не будет помнить, что видел озеро.

Вержбицкий повернул за угол и растворился в городе.

Через пять дней в редакцию Вектор придёт зашифрованный архив на 340 мегабайт. Отправитель – никто. Письмо – без текста. Только архив. Журналист Дёмин посмотрит на него и подумает: слишком безупречно. И будет прав. И это не поможет.

Некоторые ловушки прекрасны именно потому, что человек, попадая в них, всё понимает правильно – и всё равно не может выйти. Не потому что глуп. Потому что честен. А честность – это ставка в чужой игре, которую ты делаешь добровольно, каждый раз, снова и снова, потому что другие ставки кажутся невыносимыми.

Где-то в этом и есть разница между Вержбицким и Дёминым. Или её нет.

## ГУРЬЯНОВ

22 сентября, 18:47 – 23:15. Москва. Здание Министерства экономики. Кабинет на шестом этаже. Потом – нигде конкретно. Потом – везде сразу.

Чиновник, против которого не ведут операций, – это чиновник без влияния.

– Неизвестный автор, цитируется в закрытых аналитиче-

ских материалах

Человек, который знает, как устроена ловушка, попадает в неё иначе. Но всё равно попадает.

– П.А. Гурьянов, личный дневник, запись от 14 марта 2009 года, впоследствии уничтоженная

Телефон лежал на столе лицом вниз, как человек, потерявший сознание.

Гурьянов смотрел на него восемнадцать секунд – он знал точно, потому что на стене напротив висели часы с крупным циферблатом, швейцарские, купленные ещё в девяносто восьмом, в другую жизнь. Советник позвонил не по защищённой линии. Это был сигнал. Не грубый, не кричащий – тонкий, как запах газа в хорошо вентилируемой комнате. Почти незаметный. Но Гурьянов умел замечать такие запахи.

Слова советника он мог бы воспроизвести дословно: Павел Андреевич, в медиа среде формируется определённый нарратив относительно ваших зарубежных контактов. Рекомендую готовить позицию.

Нарратив. Не обвинение, не материал, не статья. Нарратив – это новое слово для старой вещи. Нарратив означает:

история уже существует, и она существует независимо от того, правда это или нет.

Гурьянов поднял трубку. Тяжесть её в ладони была привычной, почти телесной – как рукопожатие старого знакомого, которому больше не доверяешь. Положил обратно. Снова поднял.

Нет. Не сейчас.

Сначала нужно было подумать. Думать – это тоже работа, которую у него ещё никто не отнял.

Портрет на стене висел со времён предыдущего министра. Гурьянов никогда не спрашивал, кто изображён на нём, – просто человек средних лет в тёмном костюме, со взглядом, который мог означать одновременно решимость и усталость. Может быть, это был сам предыдущий министр. Может быть, кто-то из его заместителей. Может быть, никто. Гурьянов допускал, что портрет был куплен на каком-то складе реквизита, просто чтобы заполнить стену.

Незнакомое лицо успокаивало. Это казалось странным, но было правдой. Если бы он знал человека на портрете, пришлось бы думать о нём как о конкретной судьбе – жив или нет, что с ним стало, помнит ли кто-нибудь. Незнакомец был

просто образом, лишённым биографии. Чистый символ власти без её последствий.

Гурьянов подумал: может быть, именно так устроены все символы. Они работают, только пока остаются абстрактными.

Начальника службы безопасности звали Борис Игоревич Сомов. Тридцать один год в системе. Гурьянов ценил его за то, что Сомов никогда не говорил больше, чем необходимо. Это редкое качество – молчать точно столько, сколько нужно, ни секундой больше и ни секундой меньше. В мире, где слова были инструментами и оружием одновременно, умение выбирать нужную паузу стоило дороже любого красноречия.

Сомов пришёл через четыре минуты после вызова. Четыре минуты – это было быстро. Слишком быстро, чтобы просто дойти из своего кабинета на третьем этаже. Значит, он уже был в движении. Значит, уже знал.

Они смотрели друг на друга. За окном темнела Москва – медленно, как чернила, растворяющиеся в воде. Осень в этом городе всегда наступала с юго-запада, с Ленинских гор, серая и равнодушная.

Молчание длилось достаточно долго, чтобы стать ответом на вопрос, который Гурьянов ещё не успел задать.

– Откуда? – спросил он наконец.

– Пока устанавливаем.

– Материал фальшивый?

Сомов помедлил. Это была особая пауза – не неуверенность и не колебание. Это было то мгновение, когда профессиональный человек выбирает, какую именно правду сказать из нескольких доступных.

– Документы составлены профессионально. – Сомов говорил ровно, без интонаций, как читал бы технический регламент. – Частично используют реальные транзакции – совершенно легальные. Контекст создан искусственно. Это – работа подразделения, которое умеет делать именно это.

– Подразделения.

– Да.

Гурьянов встал. Ноги несли его к окну – как всегда, когда мозг начинал работать слишком быстро, тело требовало

движения, любого, хоть бы просто переставить вес с одной ноги на другую.

Москва в сумерках мерцала, как жар под пеплом. Миллионы огней, каждый из которых означал что-то конкретное – чью-то жизнь, чье-то решение, чье-то присутствие в этом вечере. Равнодушный город. Город, который пережил всех, кто пытался его понять.

– Кто заинтересован?

– Версий несколько.

– Назови главную.

– Те, кому нужно, чтобы вас не было в следующем кабинете.

Гурьянов кивнул. Это была та часть разговора, где он мог сохранять спокойствие – потому что механику он понимал. Его не уничтожают. Его делают токсичным. Разница принципиальная: токсичного актива избегают добровольно, уничтоженного активно защищают, расследуют, реабилитируют посмертно. Токсичный актив просто исчезает из повестки. Он становится именем, которое произносят реже, а потом перестают произносить совсем.

Это было изящно. Он мог оценить изящество.

Семнадцать лет назад Гурьянов стоял в другом кабинете, в другом здании, и смотрел на другое лицо – своего тогдашнего куратора в Комитете по управлению государственной собственностью. Куратора звали Аркадий Семёнович Ветров. Он был небольшим, аккуратным человеком с руками пианиста – тонкими пальцами, которые умели складывать документы точно вдоль линии сгиба.

Твоя задача – не принимать решения, – сказал тогда Ветров. – Твоя задача – создавать условия, при которых нужные решения принимаются сами.

Гурьянов был молод. Ему было тридцать четыре года. Он думал, что это цинизм. Потом понял, что это просто описание реальности.

Через три месяца одного регионального чиновника – не жестокого человека, обычного чиновника средней руки, у которого была жена и двое сыновей – перевели из Москвы в Хабаровск. Это была операция. Тихая. Документальная. Гурьянов подготовил один из пакетов материалов. Он никогда не видел того чиновника лично. Он видел только бумаги. Бумаги были аккуратные.

Он не думал об этом восемнадцать лет. Или думал, но очень аккуратно – так, чтобы мысль не набирала вес.

Сейчас она набрала вес. Сразу весь.

Гурьянов не двигался от окна. Москва за стеклом не менялась – только прибавлялось огней, медленно, как звёзды выходят после заката. Сомов стоял сзади и молчал правильным молчанием: присутствовал, не давил.

– Ты когда-нибудь думал, – сказал Гурьянов, не оборачиваясь, – что однажды окажешься с другой стороны?

Пауза была долгой.

– Думал, – сказал Сомов. – Все думают.

– И что?

– И ничего. Это не меняет работу.

Гурьянов обернулся. Посмотрел на Сомова – внимательно, впервые за много лет. Борис Игоревич стоял прямо, руки вдоль тела, лицо – профессиональное, ровное. Но что-то в посадке плеч выдавало то, что не умещалось в регламент.

Что-то усталое. Человеческое.

– Документы, которые они использовали, – сказал Гурьянов. – Транзакции. Реальные транзакции.

– Да.

– Они из нашей базы?

– Или из параллельной. У нескольких структур есть доступ.

– Значит, кто-то внутри.

– Не обязательно исполнитель. Возможно – источник данных. Это не то же самое.

Гурьянов понял. Источник может не знать, для чего используется информация. Источник просто передаёт данные тому, кто знает, как превратить данные в контекст, а контекст – в историю. Длинная цепочка людей, каждый из которых делает небольшое чистое дело – и вместе они создают нечто, чего никто из них в отдельности не создавал.

Он сам был частью таких цепочек. Много раз.

Вот в чём дело.

Кабинет пах по-особенному – старым деревом, казённой бумагой и чем-то неуловимым, что Гурьянов всегда называл про себя запахом власти. Не парфюмерным, не химическим – просто накопленным временем. Эти стены слышали тысячи разговоров. Некоторые из них изменили судьбы. Большинство – нет.

На столе лежала папка с материалами к завтрашнему совещанию по тарифному регулированию. Обычная работа. Цифры, формулы, прогнозы. Мир, в котором он понимал каждое слово.

Рядом с папкой – телефон. Молчащий. Ожидающий.

Гурьянов поднял его и набрал номер. Без колебаний – колебаться он перестал восемнадцать лет назад, это тоже был результат обучения.

Человек на другом конце поднял трубку немедленно. Это тоже был сигнал – в другую сторону. Тот, кто поднимает трубку немедленно, либо ждал звонка, либо всегда доступен. Оба варианта означали надёжность.

– Мне нужна встреча, – сказал Гурьянов. – Сегодня. Не

по телефону.

– Понимаю. Нескучный. Завтра, одиннадцать. Без охраны.

– Принято.

Он убрал телефон в карман. Сомов смотрел в сторону – деликатно, по-солдатски.

– Борис Игоревич.

– Слушаю.

– Те реальные транзакции, которые они использовали. Найди человека, который мог быть источником. Не для отчёта. Для меня лично.

– Это может быть... неприятным открытием.

– Я знаю. Поэтому для меня лично.

Сомов кивнул. Вышел без лишних слов. Дверь закрылась тихо – так, как закрывается дверь, за которой продолжается работа.

Гурьянов остался один.

Один – это не означало тишина. В здании продолжалась своя жизнь: где-то внизу горел свет в приёмной, охранник на первом этаже читал что-то в телефоне, секретарь уже давно ушла, но её кофейная чашка ещё стояла на столике у входа – он видел её утром. Здание было наполнено следами присутствия людей, которых уже не было.

Он подошёл к окну снова. Привычка. Окно было честным – оно не обманывало и не смотрело на тебя с суждением. Оно просто показывало то, что есть.

Москва зажигалась. Каждый огонь – чьё-то решение. Чьё-то присутствие за этим конкретным стеклом, в эту конкретную минуту. Миллион маленьких одиночеств, каждое из которых думает, что оно уникально.

Гурьянов думал о том чиновнике из Хабаровска. Как его звали? Он знал когда-то. Забыл. Или вытеснил – это разные вещи, хотя результат одинаковый. Чиновник был переведён из Москвы. Это была мягкая мера. Что с ним стало дальше? Гурьянов не знал. Не спрашивал. Тогда это казалось правильным – не знать лишнего.

Сейчас казалось иначе.

Вот чего он не понимал восемнадцать лет назад: информация об операции не исчезает. Она не растворяется в воздухе после того, как операция завершена. Она живёт где-то – в файлах, в памяти людей, в паттернах поведения тех, кто участвовал. И однажды кто-то находит её снова. Иногда случайно. Иногда – целенаправленно.

Он сам создавал архивы. Аккуратные, профессиональные. Теперь кто-то создавал архив о нём. Тоже аккуратный. Тоже профессиональный.

Это не была метафора кармы – Гурьянов не верил в кармические схемы. Это была просто логика системы. Система не имела памяти в человеческом смысле – она имела базы данных. А базы данных помнят всё.

Он сел в кресло. Оно было жёстким – специально, это тоже была часть профессиональной аскезы, кресла в таких кабинетах не должны располагать к расслаблению. Закрыв глаза на несколько секунд.

Тревога была физической – не в груди, как бывает от страха, а где-то ниже, в области диафрагмы. Ощущение, знакомое с юности: когда ждёшь результата экзамена, который уже сдан и переписать нельзя. Только здесь экзамен длился много лет. И результаты объявляли по частям.

Он думал о завтрашней встрече. Кесс – умный человек. Умный и честный в своей особой, профессиональной честности: он никогда не говорил того, в чём не был уверен. Это редкость. За это ему можно было доверять – в определённых рамках, в которых доверие вообще существовало в этой системе координат.

Что он скажет? Что операция многослойная. Что у неё несколько заказчиков с разными целями. Что лучшая стратегия – молчание.

Гурьянов уже знал этот ответ. Он бы сам дал тот же совет на месте Кесса.

Вопрос был в другом. Вопрос был: а что он сам хотел?

Не как министр. Не как фигура в чужой операции. Не как человек, который понимает механику и умеет её использовать.

Просто – как Павел Андреевич Гурьянов, которому пятьдесят один год, у которого есть дочь в Лондоне, с которой он разговаривает по видеосвязи раз в неделю, и старая мать в Воронеже, которая думает, что он занимается чем-то в правительстве, и которая гордится, не понимая, чем именно.

Что он хотел?

Ответа не было. Это тоже, возможно, было частью работы – научиться жить без ответов на некоторые вопросы.

В 21:48 он подписал бумаги к завтрашнему совещанию по тарифному регулированию. Аккуратно, в нужных местах, со всеми необходимыми пометками. Работа продолжалась – это тоже было правдой, параллельной остальным правдам этого вечера.

Потом он надел пальто. Оно пахло осенью – той чуть прогорклой осенней сыростью, которая накапливается в ткани после многих дождей. Надел, несмотря на то что машина стояла под крыльцом и идти через улицу не нужно.

Просто хотел ощутить что-то конкретное. Вес и запах пальто. Физическую реальность. Что-то, у чего не было двойного дна.

Охранник у лифта встал. Гурьянов кивнул ему – как всегда, не глядя в сторону, но достаточно, чтобы человек понял: его присутствие замечено. Маленькое достоинство. Маленькая профессиональная вежливость.

В лифте он ехал один. Зеркало на стене лифта отражало министра экономики Российской Федерации – немолодого, небольшого, аккуратно одетого человека с усталым лицом. Человека, который прожил достаточно, чтобы понять: система не делает исключений для тех, кто её создавал. Система не делает исключений ни для кого. В этом и состоит её честность.

Он подумал о том чиновнике снова. Как его звали. Почему он не помнит.

Потом подумал: может быть, именно это и было целью – не помнить. Может быть, профессиональная беспамятность – это не побочный эффект работы. Это её результат. Её настоящая цена.

Машина ждала. Водитель – Геннадий, двенадцать лет на этом месте – открыл дверь и посмотрел на него коротко, оценивающе, как смотрит человек, который знает своего пассажира достаточно хорошо, чтобы понимать: сегодня не разговаривать.

Гурьянов сел. Закрыв глаза.

– Домой, Геннадий.

– Понял, Павел Андреевич.

Машина тронулась. За окном поплыла ночная Москва – огни, мосты, силуэты зданий, чьи-то лица в других машинах. Город, который продолжал жить с абсолютным равнодушием к тому, что происходило на шестом этаже Министерства экономики.

Гурьянов смотрел в окно и думал о завтрашней встрече в Нескучном. Думал о Кессе. Думал о том, что правильный ответ – молчание.

Думал: молчание тоже кому-то служит. И он пока не знает, кому именно.

Это было новое ощущение. Не страх – что-то глубже страха. Тот момент, когда человек, который понимал систему изнутри двадцать лет, обнаруживает, что система понимает его тоже.

Огни за окном мерцали. Каждый – чьё-то одиночество перед невозвратимым выбором.

Его собственное одиночество было таким же.

Просто теперь он его замечал.

В 23:15, когда машина уже свернула на Кутузовский, телефон завибрировал. Сообщение от Сомова – одно слово: Нашёл.

Гурьянов смотрел на экран. Думал: значит, кто-то из людей, которым он доверял, передал данные. Не обязательно зная, зачем. Может быть – не зная вообще ничего. Просто данные утекли туда, где умеют превращать данные в контекст, а контекст в историю.

Он убрал телефон в карман.

Ответил только утром.

Потому что ночью он дал себе право не знать. Последний раз в этой истории – просто не знать. Ехать домой. Слышать, как работает двигатель. Замечать, как пахнет старое пальто.

Быть просто человеком, которому пятьдесят один год, и который понял что-то важное слишком поздно, чтобы это изменить, но достаточно рано, чтобы с этим жить.

Это тоже был выбор.

Возможно – единственный, который ещё принадлежал

ему.

## ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА

22 сентября, 21:15, Москва. Жилой дом на Садовом кольце. Квартира полковника Аверина.

Финансовый след – это биография человека, написанная числами. Она не лжёт. Но её можно редактировать.

– Из материалов учебного курса Финансовые расследования, гриф ДСП

I.

Домофон не ответил.

Дёмин стоял перед подъездом и считал секунды. Одна. Две. Пять. Садовое кольцо за спиной дышало выхлопами и светом – живое, равнодушное, бесконечное в своём круговом движении. Октябрь ещё не наступил, но сентябрь уже сдавался: воздух пах мокрым асфальтом и той особой городской усталостью, которая приходит, когда лето окончательно признаёт своё поражение.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.